



Руслан Пустота

Я

умер

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Руслан Пустота

Я умер в 3:47

«Автор»

2026

Пустота Р.

Я умер в 3:47 / Р. Пустота — «Автор», 2026

«Он умер в 3:47. Но это был не последний день. Это был шанс. Шанс начать сначала в мире, где магия — это смертный приговор, а его тело — хромой калека, которого готовят в расходники.»

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	15
Глава 3	23
Глава 3 Плясун	24
Глава 4	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Руслан Пустота

Я умер в 3:47

Глава 1

3:47.

Я помню это время по синему мертвому свету электронного табло пожарной лестницы. Цифры горели ровно, безжалостно высвечивая температуру за бортом — минус два градуса. Сигарета истлела до самого фильтра, пластик обжег подушечки пальцев, но я даже не дернулся. Боль от ожога была слишком ничтожной, чтобы отвлечь мозг от главного процесса. В тридцать шесть лет ты уже слишком хорошо знаешь разницу между банальной усталостью нейрохирурга после сорока восьми часов смены и истинным предсмертным холодом, когда периферическое кровообращение отключается, оставляя конечности ледяными глыбами.

Успешная карьера. Заведующий отделением кардиохирургии. Квартира с панорамными окнами на двадцатом этаже, где никогда не бывает солнца из-за соседней высотки, превращающей жилье в вечные сумерки склепа. Немецкая машина, чья стоимость перекрывает годовой бюджет районной больницы вместе с закупкой шовного материала. Пик формы. Самый сок для мужчины. Так почему внутри только звенящая, стерильная пустота операционной? Ни жены, чтобы привезти бульон, когда ты падаешь с ног от недосыпа и кофеина. Ни детей, чьи крики сводят с ума днем, но доказывают вечером, что ты еще существуешь вне стен реанимации. Даже собаки нет, которой плевать на твои дипломы, лишь бы чесали за ухом, стимулируя выброс окситоцина. Тридцать седьмая минута четвертого утра. Самое поганое время для того, чтобы остановить сердце. Время мусорщиков, проституток, дежурных реаниматологов и самоубийц. Статистический провал системы здравоохранения, когда бригады заняты пересменкой.

— Пересменка, — прошептал я в сизый дым, растворяющийся в желтом свете уличного фонаря. — Кто-то спит прямо на посту, кто-то пьет остывший кофе из автомата, молясь всем богам об окончании смены. Кто-то оперирует. А если тебе станет плохо именно сейчас — извини. Банально не успеют доехать. Пробки. Светофоры. Смена караула у Минздрава. Статистика смертности в три сорок семь идеальна. Чиста, как скальпель перед аутопсией. Я знал это как врач. Я считал это нормой.

Инфаркт — это не Голливуд. Никто не картинно хватается за грудь левой рукой, не падает на колени с драматичным вздохом и не шепчет имя возлюбленной. Сначала просто становится трудно дышать. Будто на ребра положили бетонную плиту весом в тонну. Ты списываешь это на усталость. На четверо суток без нормального сна. На тот проклятый случай с пациентом, которого мы потеряли сегодня вечером. Мальчишка-самоубийца. Семнадцать лет. Мотоцикл. Мокрый асфальт. Шлем слетел при ударе... Я стоял над его сердцем. Прямой массаж. Разряд дефибриллятора — триста джоулей. Еще раз. Давай же! Я видел миллиметр ткани миокарда, отделявший меня от успеха. Десять минут. Если бы скорая проскочила перекресток на десять минут быстрее, он бы сейчас пускал слюни в подушку медикаментозной комы, а не лежал в черном пакете в холодильнике морга. Он тоже не успел. Ничего не успел. И теперь я повторял его судьбу, стоя на пожарной лестнице, воняющей мочой и ржавчиной, чувствуя, как в груди разрастается этот самый холодный вакуум.

Боль пришла не как удар — как медленное, садистское сжатие тисков. Ребра трескали, грозя прорвать кожу изнутри. Я хотел закричать, позвать на помощь, но из горла вырвался только сиплый хрип — спазм гортани пережал голосовые связки. Я схватился за перила, покрытые чьей-то замерзшей мочой и хлопьями ржавчины, но пальцы уже не слушались. Нейромышечная передача отказывала. Периферия сдавалась первой. Мир пошел винтом, смазыва-

ясь в серую кашу ишемии сетчатки. Последнее, что я зафиксировал периферийным зрением — серое небо ранней весны, кувыркающееся навстречу лицу. Три секунды свободного падения. Достаточно, чтобы увидеть, как небо уходит вверх, а асфальт приближается со скоростью ускорения свободного падения. Достаточно, чтобы услышать, как ветер свистит в ушах, проходя через разрушенные евстахиевы трубы. Достаточно, чтобы понять абсолютную истину: там ничего нет. Никакого белого света в конце тоннеля. Никаких ангелов с арфами. Только холодный бетон козырька подъезда, который встретит тебя глухим шлепком сырого мяса о камень. Ему абсолютно плевать на твои тридцать шесть лет, платиновую страховку и красный диплом меда.

Я ударился спиной о козырек. Хруст был громким, влажным. Не доски. Рёбра. Как минимум двойные переломы по среднеключичной линии, возможно повреждение плевры. А потом я встретился с асфальтом. Голова ударилась так сильно, что я даже не почувствовал боли — болевой шок мгновенно отсек сознание от реальности. Просто темнота. Без белого света, без музыки сфер, без голосов родных. Просто выключили рубильник во вселенной. На мгновение я ещё чувствовал холод асфальта, который прикоснулся к моей щеке, и слышал, как где-то вдалеке лает собака — условный рефлекс ствола мозга всё ещё работал. А потом — ничего.

«Идиот, — подумал я в последнюю секунду угасающего сознания. — Даже некому оставить свою квартиру».

Я думал, что это конец. Но это было только началом клинической смерти.

Я не знаю, сколько прошло времени. Субъективное восприятие времени разрушается первым. Может, секунда, может, год. Я не чувствовал своего тела — проприоцепция отключилась. Я не чувствовал ничего, кроме темноты, которая была плотной и тягучей, как патока или густой формалин. Мне казалось, что я падаю, но не вниз, а внутрь самого себя. В какую-то бесконечную воронку, которая сжимала меня, выдавливая мысли, чувства, воспоминания через невидимую мясорубку синапсов.

А потом пришел голос. Он не звучал в ушах. Он вибрировал в костях, заполняя вакуум моей головы инфразвуком, резонирующим с черепной коробкой. Я не слышал его акустически — я чувствовал его вибрации каждой частицей распадающегося эфира.

— Ты умер с пустотой внутри.

— Что за херня? — огрызнулся я мысленно. Грубо. По-хозяйски. Хирурги привыкли быть богами в стерильном боксе, смерть должна стоять у двери и ждать разрешения войти со стуком, предварительно вымыв руки.

— Ты мертв, — констатировала Память. Без эмоций. Как протокол операции. Сухая констатация факта. — Асфальт принял тебя хорошо. Череп раскололся эстетично. ЗЧМТ исключена ввиду отсутствия объекта. Это не сон. Не галлюцинация умирающего мозга. Ты разбился об асфальт. Декапитация личности завершена.

— Я знаю, что умер, — огрызнулся я. — Я чувствовал, как ломаются рёбра, слышал хруст собственных остистых отростков. Но что это за место? Чистилище? Зал ожидания?

— Это — Междумирье. Буфер обмена данных. То, что между жизнью и смертью. Ты должен был исчезнуть. Фрагментироваться. Стандартная утилизация биоматериала. Но мне стало любопытно. Я наблюдал за тобой.

— Кто ты? Бог? Демон? Глюк моего умирающего мозга, выбрасывающего последние капли эндорфинов?

— Ты не поверишь в то, что я скажу. Архитектор реальностей звучит слишком пафосно, а системный администратор — слишком скучно. Выбери сам.

— Я видел, как люди умирают на операционном столе. Я верил в то, что вижу своими глазами. Сейчас я ничего не вижу, кроме темноты, поэтому моя вера поставлена на паузу. Говори факты. Дайте анамнез.

Голос замолчал. Казалось, моя наглость его удивила или развеселила — отличить эти эмоции в вибрации невозможно.

— Я — не бог. Я — память. Осадок. Ил. То, что остается, когда люди думают, любят и убивают друг друга. Я существую, потому что вы, люди, создаёте меня. Каждой мыслью, каждой смертью, каждой надеждой, которую боитесь озвучить. Вы не замечаете меня, но я всегда рядом, впитывая ваш шум. И иногда я выбираю те сосуды, которые могут стать чем-то большим, чем просто перегной.

— Большим? — я усмехнулся мысленно. — Я был врачом. Я спасал жизни. Я не стал большим. Я просто работал до инфаркта, пока мой собственный мотор не сгорел на холостых оборотах. Теперь я мёртв. Биологический процессор уничтожен. Так в чём смысл этого апгрейда?

— Ты не успел сделать то, что должен был. Ты умер с пустотой внутри. Социальная изоляция высшей степени. Ты жалеешь о том, чего не сделал? Анализ остаточных эмоциональных маркеров.

Я задумался. Вопрос ударил в точку, которую я прятал за цинизмом, сарказмом и профессиональной деформацией. Я вспомнил пустую квартиру. Холодную постель размера king-size, хранящую форму чужих тел, которых там никогда не было. Никого, кто бы ждал. Никого, кто бы плакал на моих похоронах, разве что старшая медсестра ради приличия.

— Да, — ответил я. — Жалею. Я хотел... Я хотел кого-то рядом. Хотел построить дом, вбивать гвозди своими руками, чувствовать запах сосны. Хотел иметь семью. Но я всё откладывал. Думал, что сначала сделаю карьеру, куплю квартиру, накоплю денег на черный день. А в итоге я просто сдох в тридцать шесть, и даже кот не будет плакать по мне, потому что кота у меня тоже не было. Ноль. Полная аннигиляция социального следа.

— Ты получишь это, — сказал голос. — Я дам тебе второй шанс. Новая локация. Перенос копии матрицы.

— Звучит как отличная сделка, — сказал я с сарказмом. — Бесплатный сыр. Но я так понимаю, есть подвох? Скрытые комиссии? Процентная ставка души?

— Всегда есть подвох. Легко не будет. Обещаю боль, деградацию тканей и высокую вероятность фатального исхода.

— А если я откажусь? Хочу видеть договор мелким шрифтом.

— Тогда ты исчезнешь. Навсегда. Твоя душа растворится в пустоте информационного шума. Ты не попадёшь ни в рай, ни в ад. Ты просто перестанешь существовать. Форматирование диска без возможности восстановления.

Я помолчал. Взвесил риски. Специальность обязывала меня принимать решения быстро, оперировать в условиях дефицита времени и информации, но это было нечто другое. Ставка была слишком высока. Я никогда не верил в загробную жизнь. Я считал, что смерть — это окончательный zero. Но если есть шанс, даже самый дерьмовый, заваленный багами и лагами... инстинкты врача требовали бороться до последнего разряда дефибрилятора.

— Я согласен, — сказал я. — Подписываю информированное согласие.

Голос замолчал. Я чувствовал, как он рассматривает меня, изучает, взвешивает мои слова на каких-то космических весах.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Ты получишь свой шанс. Новое тело. Нулевой уровень. Я не буду тебе помогать. Я не буду подсказывать. Я просто дам тебе сосуд и отпущу. Всё, что будет дальше, зависит только от тебя. Ты будешь один.

— Как мне тебя называть?

— Никак. Я — не имя. Я — то, что осталось после того, что было до тебя. Просто помни: ты — ошибка, которую я решил не стирать. Баг, ставший фичей. Не заставь меня пожалеть об этом. Или я выполню factory reset принудительно.

Я хотел спросить ещё что-то, уточнить параметры процессора нового тела, но темнота схлопнулась, и меня буквально вывернуло наизнанку. Физическая дезинтеграция. Я почувствовал, как меня засасывает внутрь воронки, как мое сознание вдавливают в маленькую тюрьму чужого, маленького черепа. Я закричал, хотя у меня не было рта, только рвущиеся голосовые связки эмбриона. И провалился в бездну перезагрузки.

Я очнулся от запаха.

Я никогда не думал, что обоняние может выдать такой мощный болевой импульс прямо в кору головного мозга, минуя фильтры. Запах был везде. Он заполнил мои ноздри, мой рот, мои лёгкие, оседая на альвеолах плотной пленкой миазмов. Плотный, влажный, теплый смрад аммиака, прелой древесины и сладковатой гнили картофеля. Запах бедности третьей клинической стадии. Я попытался открыть глаза, но веки были липкими, склеенными гнойным экссудатом или обычной грязью — классический конъюнктивит антисанитарии. Я поднёс руку к лицу, чтобы протереть их — и услышал, как в моей голове что-то хрустнуло. Суставы запястья. Движения были неправильными, несогласованными. Проприоцепция врала безбожно. Я был слишком лёгким, слишком тонким, центр тяжести смещен непривычно низко. Кортикальный гомункул реманился мучительно долго. Я был маленьким. Очень маленьким.

Я открыл глаза. Потолок был низким, затянутым серой паутиной. Солома. Тёмная, спрессованная десятилетиями, пахнущая мочой животных и человеческим отчаянием. Я лежал на земле, на чём-то твёрдом и колючем, впивающемся в лопатки сквозь тонкую рубаху. Голова раскалывалась так, будто мне в череп забили ржавый гвоздь — внутричерепное давление после гипоксического скачка зашкаливало. Мигрень напряжения. Я попытался приподняться на локтях — и рухнул обратно. Левая нога отозвалась острой болью в бедре, такой сильной, что у меня потемнело в глазах, а по периферии зрения поплыли фосфены. Классика жанра: болевой шок блокирует передачу импульса.

— Вставай, червяк!

Голос был грубым, низким, хриплым от многолетнего курения и спирта. Я почувствовал удар в бок — ногой, тяжёлой, в грубом сапоге. Удар пришелся точно в область селезенки. Боль отдалась в спине, отзываясь эхом старых травм. Сомнительная тактика стимуляции пациента в шоке. Я снова попытался подняться, теперь уже через силу, игнорируя протестующее тело. Включаем волевой контроль над мотонейронами.

— Я сказал — вставай! Тебе дали пять минут до летального исхода от моего кулака!

Меня ударили снова, уже сильнее, расчетливо, под дых. Воздух вышел из легких со свистом сдвигаемого клапана. Я перекатился на спину и сел, опираясь на руки. Всё тело болело, каждая мышечная группа кричала о микроразрывах волокон и накопленной молочной кислоте, но особенно — левая нога, которая была вытянута под странным, противоестественным углом наружу.

Передо мной стоял мужик. Огромный, как гора мяса и сала. Руки — как кузнечные молоты, покрытые шрамами и вьёвшейся сажей. Кожаный фартук, грязный, заскорузлый, забивший от крови и масла. Лысая голова блестела в сером свете щели под крышей. От него разило самогоном — метаболиты этанола били в нос даже с расстояния двух метров. Печень этого тела явно не имела привычки к такому уровню интоксикации.

— Ты оглох, ублюдок? — Он снова занёс ногу для добивающего удара по коленному суставу, намереваясь раздробить мениск просто ради развлечения.

Я не ответил. Я просто смотрел на свои руки. Маленькие. Тонкие. Пальцы длинные, характерные для пианиста, но неухоженные. С ободранными ногтями, под которыми чернела кайма земли. Детские руки. Руки подростка-аутсайдера с дистрофией.

— Чё уставился? Пытаешься гипнотизировать? — мужик плюнул на пол желтоватой слюной, поражающей воображение густотой. — Вставай, калека. Ты нужен мне в кузнице, а не здесь. Даю тебе 5 минут, потом выгоняю псам на ужин.

Он ушёл, тяжело бухая сапогами по земляному полу. Я остался один. Сидел на соломе, смотрел на свои руки, на свою хромую, вывернутую ногу и думал о том, что только что согласился на жизнь в теле тринадцатилетнего инвалида, которого уже бьют. И это был только первый день бета-теста.

Я сидел и пытался дышать ровно. Просто дышать. Вдох — выдох. Вдох — выдох. Паника — это плохо. Паника сжигает остатки гликогена, вызывает тахикардию, сужает сосуды головного мозга. Паника — это когда ты перестаёшь думать клинически. А если я перестану думать — я умру. Здесь, в этом сарае, на этой соломе, от банального приступа фибрилляции на фоне стресса.

Я посмотрел на свои руки. Маленькие, тонкие. Кожа бледная, почти прозрачная, видна венозная сетка. Ногти обкусаны до мяса. На ладонях — мозоли. Твёрдые, жёлтые, потрескавшиеся, похожие на старую кожу животного. Это были руки работяги. Руки, которые держали молот, таскали уголь, тянули меха. Я никогда не работал руками. Я работал головой, скальпелем и микроинструментами. Мои руки были чистыми, ухоженными, с ровными ногтями хирурга. Теперь — это. Грязь под ногтями, ссадины, цыпки.

Я сжал пальцы в кулак. Потом разжал. Пальцы слушались. Рука слушалась. Управление мотонейронами установлено успешно. Это было странно — чувствовать, как чужие пальцы двигаются по твоей команде, ощущать фантомную легкость там, где должно быть привычное напряжение мышц грудной клетки.

Потом я посмотрел на ногу.

Левая. Она была вытянута вперёд, ступня повернута наружу почти на сорок пять градусов — классическая наружная ротация. Колено — чуть согнуто, контрактура, не разгибается до конца. Я попробовал пошевелить пальцами стопы — они двигались, но медленно, с усилием, отклик задерживался. Я попробовал поднять всю ногу, сгибая в тазобедренном — не получилось. Мышцы бедра не слушались. Они были тонкими, дряблыми, атрофированными. Вся нагрузка при ходьбе шла на правую, здоровую ногу, вызывая перекос таза.

Я — врач. Точнее, был им. Кардиохирург. И я знал, что это — не просто кривая нога от рождения. Это клиника. Неправильно сросшийся перелом шейки бедра. Кость сломалась, сместилась, и никто не вправил её обратно. Никто не собирал головку винтами. Она срослась под углом, сформировался ложный сустав. Мышцы, которые должны были держать ногу, атрофировались от неиспользования. Ступня компенсаторно вывернулась, чтобы хоть как-то сохранять баланс. Я знал, что это лечится только сложной остеотомией и аппаратом Илизарова. Судя по обстановке и внешнему виду отца, госпиталем с хорошим медицинским оборудованием тут и не пахнет. Здесь даже йод считают роскошью.

Я протянул руку и коснулся бедра. Кожа была тёплой, живой. Под пальцами чувствовалась кость — она выступала неровно, бугристо, неестественно. Я надавил чуть сильнее — боль прострелила до самого таза, отдаваясь в крестец. Я зашипел и убрал руку. Всё правильно. Там, где должен быть ровный сферический сустав, была кривая, угловатая конструкция. Инвалидность второй группы минимум.

Я опустил голову. Провёл пальцами по земле. Солома. Грязь. Навозный запах вьелся в ноздри намертво. Я не знал, где я географически. Не знал, кто я теперь социально. Не знал, как мне быть дальше физиологически. Но я знал одно — я не сдохну в этом сарае. Я не сдохну от руки пьяного дегенерата. Я не сдохну от того, что у меня не хватило сил встать. Алексей Соколов проигрывал много раз в операционной, но он всегда боролся до последнего разряда дефибриллятора.

— Ты — Алексей Соколов, — сказал я себе тихо. Холодный голос реаниматолога успокаивал лучше транквилизаторов. — Сорок восемь часов на ногах — норма. Разрывы аорты — рутина. Ты привык бороться за жизнь. За чужую жизнь. Теперь борись за свою. Выигрывал раньше — выиграешь и сейчас. Не сдавайся. Оцениваем обстановку.

Я оперся рукой о столб и поднялся. Левая нога подогнулась, как тряпичная, отказываясь держать вес. Я удержался, переноса массу на правое бедро. Боль в левой стороне была пульсирующей, тупой — признак воспаления надкостницы. Я сделал шаг. Второй. Третий. Хромота была сильной, походка напоминала движение старика с болезнью Паркинсона. Но я шёл. Координация восстанавливается.

Я подошёл к бочке с водой. Вода была мутной, зеленоватой, с плавающими хлопьями чего-то неопределенного. Но жажда пересилила брезгливость. Я зачерпнул горсть, плеснул в лицо. Ледяная вода обожгла разбитую губу. Я заглянул в бочку, пытаюсь поймать отражение.

Мальчишка. Худой, до костей. Ребра выпирают через рваную рубаху. Ключицы торчат, как вешалка. Скулы острые, обтянутые кожей. Глаза — мои. Серые, усталые, с тёмными кругами бессонницы. Лицо бледное, землистое, с грязными разводами. Ссадина на скуле, багровый синяк под левым глазом. Старый.

Я смотрел на него, и отражение в воде повторяло мои движения, но парень, который смотрел на меня снизу вверх, был мне совсем чужим. Я даже имя его не знаю. Нет доступа к личным файлам.

«Ладно, — сказал я себе, опускаясь обратно на солому, так как ноги начали дрожать от слабости. Гипогликемия на фоне шока. — Это придёт позже. Сейчас главное — выжить. Найти еду. Найти тепло. Понять правила игры».

Посмотрел на одежду. Рубаха — серая, домотканая, грязная, с дырой на плече, прожженной искрой. Штаны — такие же, одна штанина закатана выше колена, там, где нога кривая. Пояс — верёвка. Ни трусов, ни носков. Шерстяных тоже нет, судя по реакции кожи на холод. Я даже не хотел знать, когда этот парень мылся в последний раз. Эпидермис требует срочной санации.

Я огляделся. Сарай. Солома, навоз, бочка с тухлой водой. Инструменты на стене — вилы, лопата, мотыга. Всё старое, ржавое, засаленное. Уровень жизни: раннее средневековье. Санузел отсутствует.

«Пять минут, — вспомнил я слова громилы. — Он сказал пять минут. Время вышло две минуты назад. Скоро вернется проверять труп»

Я шагнул к двери. Нога болела огнем, каждый шаг отдавался в позвоночнике. Но я вышел.

Снаружи — двор. Завален железным ломом, углем и гниющими досками. В центре — кузница. Маленькая, с открытым горном. Огонь уже разгорелся, пожирая древесину с жадностью голодного зверя. Отец стоял у наковальни, держа щипцами раскалённый прут. Красный свет пламени делал его похожим на демона. Он обернулся, посмотрел на меня, на мою позорную, дерганую походку.

— Дополз, калека? — спросил он. Голос был лишен эмоций. Констатация факта.

Отвечать я побоялся. Любое слово могло спровоцировать новый виток насилия. Мне нужно время на адаптацию ЦНС.

Внутри кузницы было жарко, душно, пахло горелым железом и угольной пылью. Температура воздуха под потолком явно превышала тридцать пять градусов. В центре стоял горн — каменная печь, внутри которой полыхал огонь. Рядом — меха. Кожаные, огромные, с деревянными ручками. Я не знал, как к ним подойти. Я никогда не видел их вживую. Только в исторических фильмах, и то мельком. Принцип работы понятен, механика — нет.

Ручка была тёплой, скользкой от чьего-то пота. Я взялся, потянул — не так, как надо. Слишком резко, спазматично. Рефлекс испуга. Воздух вырвался с хрипом, огонь в горне взметнулся, осыпав всё вокруг градом оранжевых искр. Уголь посыпался на утопанный земляной пол.

Отец повернулся ко мне мгновенно. Глаза узкие, злые, белки покрасневшие. Похмельный алкогольный психоз накладывается на вспышку ярости.

Удара я даже не заметил. Мгновение назад я стоял, глядя на мехи. Теперь сижу на полу, и капли крови капают на штанину из разбитой губы. Нижняя губа разбита практически полностью, чувствую во рту вкус железа и желчи. Зуб шатается. Он ударил наотмашь, открытой ладонью, с металлическим звоном перстней о костяшки.

— Ещё раз так сделаешь — без ужина останешься! — проорал он. — Берись за меха. Медленно. Ровно. Как учил!

С пола поднялся молча. Нога болела адски при каждом движении, но я не показывал слабость. Демонстрация боли провоцирует агрессора. Снова взялся за ручку. Медленно потянул. Воздух пошёл плавно, толчками. Огонь разгорелся ровно, без вспышек, гудя ровно и сыто.

Отец смотрел на меня. Склонив голову набок, как птица.

— Так. Запоминай. Если будешь дёргать — уголь сгорает зря, температура падает. Если будешь тянуть слишком медленно — огонь гаснет от нехватки кислорода. Нужно чувствовать тягу. Жопой чувствовать.

«Чувствовать, — подумал я, переводя дух и стараясь не блевануть от вкуса крови. — Я чувствую только острую боль в седалищном нерве и то, что я хочу есть. Адреналиновый сахар упал. И ещё вкус крови во рту. Металлический, тошнотворный».

Но я продолжал. Всё тело болело — руки, спина, шея. Я пытался найти правильный ритм, синхронизировать дыхание с движением рук, но это было трудно. Мозг требовал точности, а тело выдавало тремор. Отец стоял рядом и следил за каждым моим движением, дыша перегаром в затылок.

— Держи ровнее, — сказал он. — Не криво. Спину выпрями, горбатая свинья.

Я попробовал ещё раз. Меха шли тяжело. Я не понимал, как их держать, как распределять вес, чтобы не сорвать поясницу. Я снова дёрнул резко — рефлекс. Огонь вспыхнул. Отец зарычал, как цепной пес, и ударил меня по спине кулаком. Не сильно, но обидно.

— Ты тупой?! — заорал он. — Зачем дёргаешь?! Уголь портишь!

Я ничего не сказал. Я просто стоял, смотрел в огонь и чувствовал, как губа распухает, превращаясь в вареник, а по подбородку течёт тонкая струйка крови. Мне хотелось схватить стоящие в углу клещи и ударить его в висок. Профессионально, насмерть. Но я не мог. Он был больше. Сильнее. Масса имеет значение в физике удара. И если я ударю — он меня убьёт. А я только что воскрес.

Я снова взялся за меха. Глубокий вдох. Контроль диафрагмы.

Весь день я мучился. Я не умел подавать заготовки — ронял их в угли, обжигая пальцы до пузырей. Я не умел держать клещи — они выскальзывали из мокрых от пота ладоней. Я не умел бить молотом — удары были слишком слабыми или слишком сильными, я никак не мог поймать резонанс металла. Отец ругался, бил, плевался. Для него я был бракованным инструментом.

— Ты что, забыл всё, чему я тебя учил?! — орал он, замахиваясь снова. — Ты хуже, чем был в пять лет! Тогда хотя бы страх был!

Я молчал. Я не мог ему сказать, что я не тот, кого он знал. Я не мог сказать, что я вообще впервые вижу кузницу изнутри. Что я привык держать в руках трепещущее сердце весом в триста грамм, а не кусок раскалённого железа. Он бы не понял. Для него это звучало бы как бред сумасшедшего.

К вечеру я наконец начал разбираться. Мышечная память адаптировалась. Я научился держать клещи так, чтобы они не выскальзывали из захвата. Я научился поднимать тяжёлые заготовки — не рывком, а плавно, распределяя вес на обе руки и используя массу корпуса. Я научился не обжигаться — хотя пару раз всё же обжёгся, и кожа на пальцах покраснела и опухла. Ожог первой степени.

Отец смотрел на меня с подозрением. Я видел это в его глазах краем зрения. Что-то было не так. Он чувствовал, что я не тот мальчишка, который вчера плакал от одного взгляда. Мой взгляд был слишком тяжелым. Слишком пустым.

— Ты странный сегодня, — сказал он, когда мы закончили работу и солнце начало садиться. — Как будто в первый раз видишь всё. Как будто тебя подменили.

Я не ответил. Промолчать — лучшая стратегия выживания. Я стоял, ждал, что будет дальше. Он смотрел на меня, потом на мою разбитую губу, потом на кровь на штанине.

— Пшёл вон, — сказал он, махнув рукой, как собаке. — Иди в дом, пожрёшь. А то сдохнешь — некому будет уголь таскать. И так из-за тебя заготовка чуть не пошла в брак...

С облегчением развернулся и пошёл к дому. Нога болела невыносимо, но я старался не показывать боли. Не хромать. Не выдавать уязвимость. Не хотел, чтобы он видел, что я страдаю. Боль — это информация, а информацию нельзя давать врагу.

Я зашёл в дом.

Сначала — темнота. Глаза привыкали несколько секунд. Свет пробивался только от очага в углу и через маленькое, затянутое мутным бычьим пузырем окошко. Всё остальное тонulo в сером полумраке. Затхлость. Запах нищеты.

Пахло кислой капустой, мокрой золой, старой шерстяной одеждой и ещё чем-то сладковато-гнилостным — я не сразу понял, что это гниющий картофель в углу, выделяющий токсины. Пол был земляным, утоптаным до блеска, кое-где присыпанным свежей соломой. Стены — грубо обтёсанные брёвна, в щелях торчал сухой мох. На столе — глиняная миска с трещиной, несколько деревянных ложек, помятый медный кувшин.

В углу стоял очаг — открытый, сложенный из грубого камня. Над ним висел почерневший котёл. Огонь почти погас, остались лишь красные угли, изредка вспыхивающие оранжевым.

На лавке сидела женщина.

Я не сразу понял, что это мать. Она была худая — до того, что ключицы торчали, как вешалка для пальто. Грязные волосы стянуты в небрежный пучок, на висках седина — хотя лицо казалось не таким старым, морщины были морщинами усталости, а не возраста. Руки грубые, в трещинах, одна из них машинально помешивала ложкой в пустом горшке. Автоматика горя.

Она не подняла головы, когда я вошёл. Сидела, смотрела в одну точку — не на меня, просто в стену. Взгляд фиксированный. Глаза пустые, безжизненные, с красными прожилками — как будто она плакала часами, но уже забыла, зачем. Одежда серая, заношенная, с заплатками на локтях. Подол обожжён у очага.

Я остановился у входа. Не знал, что делать. Говорить? Здраваться? Молчать? Социальные протоколы этого мира отсутствовали в моей базе данных.

Женщина подняла глаза. Сделала это медленно, с усилием, как будто переводила взгляд с одной точки на другую через сопротивление. Она скользнула по моему лицу, по разбитой губе, по крови на штанине, по рукам в свежих ожоговых пузырях.

Ничего не сказала. Ни удивления, ни жалости, ни злости. Просто — пустота. Эмоциональное выгорание терминальной стадии.

Она кивнула в сторону лавки.

— Садись.

Голос — тусклый, хриплый, безжизненный. Так говорят люди, находящиеся в глубокой депрессии, когда слова потеряли смысл и стали просто шумом.

Я сел. Она отодвинула миску ближе ко мне. В ней была каша — мутная, серая овсянка, с тёмными кусочками, похожими на гнилые овощи. Пар почти не шёл. Еда комнатной температуры.

В этот момент дверь с грохотом распахнулась.

В дом ввалилась девочка — с двумя тяжёлыми вёдрами воды. Она была маленькая, худая, как щепка, лет десяти, не больше. Одежда — грязная, в заплатках, из-под рубахи торчали острые коленки и локти. Волосы спутанные, сбились в колтуны, цвет невозможно определить под слоем пыли. Босая. Пальцы ног в земле, с ободранной кожей. Черный педикюр нищеты.

Вёдра были почти ей по плечи. Она тащила их, согнувшись пополам, напрягая шейный отдел, и поставила на пол с глухим стуком. Вода плеснулась на земляной пол, но она не обратила на это внимания. Привыкла.

Она оглядела комнату, остановилась взглядом на мне — и ничего не сказала. Просто подошла к столу, взяла ложку, села напротив и начала есть. Быстро, жадно, заглатывая куски, как будто боялась, что миску отнимут. Истинный голод.

Я жевал кашу. Губа пульсировала болью при каждом движении челюсти, но я терпел. За окном уже было темно. Солнце село, и дом погрузился в серый сумрак, только угли в очаге давали слабый, красноватый свет.

Девочка доела первой. Она облизала ложку дочиста, поставила её на стол и посмотрела на меня.

— Тэон, ты почему не ешь? Явно есть хочешь, живот к спине прилип.

«Тэон».

Я повторил про себя. Тэон. Моё имя. Теперь я знаю, как меня зовут. Не «калека», не «червяк». Тэон. Регистрационный номер.

— Ем, — сказал я, заставляя себя проглотить безвкусную массу.

— Ты губу разбил, — сказала она просто, как факт, без жалости. Сухая констатация травмы. — Отец?

Я не ответил. Кивок подтвердил бы очевидное, оправдание вызвало бы гнев отца, если бы он слышал. Я промолчал. Она кивнула сама себе, как будто и не ждала ответа. Диагноз поставлен.

— Тэон, — сказала она тихо, наклонившись над столом. — А помнишь, ты хотел мне куклу купить? Говорил, если будет лишняя монетка, купишь. Деревянную. А ты добыл лишнюю?

— Нет, — сказал я.

Она опустила глаза. Я не знал, что это за конкретное обещание, но чувствовал — ложь сейчас будет хуже правды. Дети чувствуют фальшь кожей.

— Я видела у старосты дочку куклу, — сказала она почти шёпотом, придвигаясь ближе. — Красивая. Голубые волосы, платье синее. Хорошая. Мне бы тоже такую, хоть раз в жизни. Хотя бы подержать.

Она улыбнулась — странной, полупрозрачной улыбкой, в которой было больше надежды, чем здравого смысла. И закрыла глаза. Прямо сидя за столом. Уснула мгновенно, истощение нервной системы.

Она устала. Она была ребёнком, который таскал вёдра воды, работал в поле и просил куклу, как будто это могло изменить её жизнь. Синяки под глазами глубже моих.

Мать поднялась, не сказав ни слова, подошла к девочке. Подхватила её на руки — легко, словно пушинку. Отнесла в угол комнаты, где на полу был разложен тюфяк. Легла рядом с ней, лицом к стене. Замерла.

Девочка открыла глаза через минуту, собрала со стола миски и ложки, отнесла их к бочке с водой. Я слышал, как она полоскает посуду, как вода плещется. Потом она вытерла руки о рубаху, зевнула и пошла в угол, где лежала охапка соломы и какая-то тряпка — её место для сна. Легла, свернулась калачиком, подтянув колени к груди, и почти сразу затихла.

— Спать иди, — сказала мать тихо, не поворачиваясь. Голос мертвый.

Я вышел из дома, прошёл в сарай, где уже знал своё место — солома, грязь, холод. Я лёг на сено. Оно кололось даже сквозь рубаху.

Я привык к мягкой постели ортопедического матраса. К подушке, набитой гречихой, к чистому белью с запахом хлорки. Теперь я лежал на жёсткой соломе, в грязной одежде, с немытой кожей, с разбитой губой, отекавшей до размера сливы. Всё тело болело — спина, руки, нога. Но я не мог уснуть. Болевой синдром мешал торможению коры.

Я смотрел в потолок и думал.

Что я узнал за этот день?

Здесь нет электричества. Вместо ламп — очаг и угли. Вместо крана — колодец и вёдра. Это может быть глухая деревня, в лесу далеко от цивилизации. А может, здесь вообще нет городов. Я не знал. Пока что я знал только то, что видел: грязь, холод, голод и страх. Первобытные условия.

Меня зовут Тэон. У меня есть сестра — худая, босая, с глазами, которые слишком много видели для десяти лет. Она таскает вёдра и мечтает о кукле, которую никогда не получит. У меня есть мать — сломленная, пустая, она смотрит в стену и помешивает пустой горшок. Клиническая депрессия. У меня есть отец — огромный мужик, который бьёт детей железной рукой просто потому, что мир давит на него.

И у меня есть нога, которая причиняет мне адскую боль и останется такой навсегда, если ее не прооперировать высокотехнологично.

Я — Алексей Соколов. Хирург. Тот, кто привык держать в руках скальпель, зажим Пеана и управлять аппаратом искусственного кровообращения. Но Алексей умер. Теперь я — Тэон. Хромой, тощий, грязный. Я не знаю, что за мир вокруг меня. Я не знаю, есть ли за лесом города с канализацией. Я не знаю, есть ли здесь врачи, кроме меня. Я не знаю ничего.

Но я знаю одно: если я сдамся — я умру. Окончательно. А я не хочу умирать. Не здесь. Не так. Не от руки пьяного кузнеца из-за куска угля.

Я смотрел в потолок, видел звёзды между щелями в крыше и думал: завтра я проснусь и буду искать ответы. Я буду смотреть, слушать, запоминать анатомию этого мира. Я найду способ выбраться из этой ямы. Или приспособлю эту яму под операционную.

Я закрыл глаза и провалился в сон без сновидений. Защитное торможение ЦНС.

Глава 2

Глава 2 Звёзды чужие

Я проснулся от холода.

Он был везде — в пальцах ног, потерявших чувствительность из-за спазма периферических сосудов, в пояснице, намертво примерзшей к жёсткой соломе, в щеке, прижатой к земляному полу. Холод проник в кости, в живот, вымораживая остатки тепла от вчерашнего сна. Того самого сна, где была мягкая ортопедическая кровать, чистые простыни со стерильным запахом хлорки и абсолютная тишина без хрюканья свиней за стеной.

Я не открывал глаза. Я лежал и ждал.

Ждал, что это закончится. Что сработает будильник. Что я открою глаза и увижу белый потолок своей квартиры. Услышу гул машин за окном. Почувствую запах кофе, который я так и не научился пить по утрам без чувства тошноты.

Я ждал.

Ничего не произошло.

Тахикардия начала успокаиваться только через пару минут концентрации на дыхании. Организм принимал новые вводные данные.

Я открыл глаза. Надо мной — доски потолка. Грязные, в глубоких щелях, сквозь которые пробивался серый утренний свет, разрезая пыльный воздух лучами. Пахло соломой, прелым навозом и той специфической сыростью, которая бывает только в землянках. Где-то за бревенчатой стеной громко, утробно хрюкнула свинья, кто-то надсадно кашлянул — влажный, булькающий звук хронического бронхита.

Я лежал и смотрел в потолок, пока в голове медленно, как тягучая смола после наркоза, ворочалась мысль: это не сон. Это объективная реальность данной локации.

Я поднял руку. Она была маленькой, бледной до синевы, с ободранными ногтями и грязными разводами под ними. Чужая конечность. Я пошевелил пальцами — они слушались, хотя нейромышечная передача всё ещё давала микросекундную задержку. Я сжал кулак — костяшки побелели от напряжения атрофированных мышц. Я разжал. Рука была моей по праву владения, но чужой по биомеханике.

Левая нога болела. Ноющая, тупая боль в тазобедренном суставе, которая уже стала привычным фоном за один день. Адъективное воспаление надкостницы. Я попробовал пошевелить ступнёй — она повернулась с трудом, амплитуда движения ограничена контрактурой, и боль прострелила в бедро острой иглой. Я зашипел сквозь зубы и замер, пережидая спазм грушевидной мышцы.

Я — Тэон.

Я повторил это про себя, пытаясь синхронизировать сознание с моторикой тела. Тэон. Хромой, тощий, грязный. Сын кузнеца-алкоголика, которого бьют сапогами по ребрам. Брат десятилетней девочки, которая мечтает о деревянной кукле, чтобы было кого обнимать ночью.

Я закрыл глаза и снова открыл. Ничего не изменилось. Синдром дереализации отступить не собирался.

— Ты — Алексей Соколов, — сказал я шёпотом. Горло пересохло, голос звучал сипло. — Ты умер. Кардиограмма выпрямилась три часа назад по субъективному времени. Это — не ад. Слишком воняет навозом для преисподней. Это не рай. Слишком болит губа. Это просто другой мир. И ты в нём. Биологический имплантат. Либо ты встанешь прямо сейчас и начнешь функционировать, либо сдохнешь здесь, на этой соломе, от банальной пневмонии или сепсиса. Выбериай. Третьего протокола не предусмотрено.

Я поднялся. Боль в ноге вспыхнула ярким пятном, спина отозвалась глухим стоном межпозвонковых дисков. Боль в разбитой губе пульсировала при каждом вдохе холодного воздуха.

Я встал на правую ногу, перенеся вес, затем осторожно опёрся на левую — и пошёл. Хромая, переваливаясь с боку на бок, используя трость, которой не было. Походка человека с ложным суставом шейки бедра. Но я шёл. К двери. К новому дню.

Дом встретил меня все так же серо и дымно. Очаг почти погас — только угли тлели красным, изредка вспыхивая оранжевым, пожирая последние крупницы кислорода. В воздухе висели запахи перекишей кислой капусты, мокрой золы и старого, гниющего дерева. Тишина. Только треск остывающих углей и тяжелое, прерывистое дыхание матери за спиной.

Я смотрел на её руки. Грубые, покрытые сетью трещин, похожих на высохшее русло реки, с чёрными полосками въевшейся грязи под ногтями. Паронихия? Нет, просто уголь. Она держала деревянную ложку так, будто это было оружие самообороны. Или единственная защита от мира.

Потом я перевёл взгляд выше. На её лопатки, выпиравшие сквозь заношенную рубашу острыми углами, на тонкую, как у птицы, шею, покрытую паутиной вен. Сколько ей лет? Тридцать? Сорок? Здесь возраст не угадать — хронический стресс и недоедание высасывают из людей годы быстрее, чем положено природой. Рука с ложкой двигалась медленно, механически, будто через силу, будто каждое круговое движение требовало расхода последних калорий.

Я хотел сказать «спасибо» за похлебку, но она уже отвернулась к очагу, сгорбившись над пустым горшком. Она не ждала спасибо. Она вообще не ждала ничего. Она просто существовала, как часть этого дома, как старая вещь, которую не выбрасывают, потому что заменить её нечем, а пользы от неё всё ещё чуть больше, чем от мусора.

Мать поставила передо мной миску. Тушёная капуста — кислая, с горьковатым привкусом дубильных веществ, с тёмными прожилками, похожими на старые листья табака. Пар почти не шёл — температура блюда едва превышала температуру окружающей среды. Я взял ложку.

Есть не хотелось совершенно. Базовый метаболизм снижен из-за стресса.

Я жевал механически, через силу, заставляя работать челюстные мышцы. Губа болела при каждом движении, и кислота разъедала свежую ссадину, вызывая металлический привкус во рту, но я терпел. Я смотрел перед собой в стену, изучая узор волокон древесины, как она смотрела в свою пустоту, и думал о том, как я здесь оказался. Анализ причинно-следственных связей.

В дверях показалась Лика. Она замерла на пороге, прислонившись плечом к косяку, стараясь занимать как можно меньше места. Смотрела на меня. Я чувствовал её взгляд кожей затылка, но не поднимал головы. Не готов к социальному контакту.

Она подошла ближе, села напротив. Я видел её лицо — испачканное сажей, как и вчера, с огромными серыми глазами, занимающими половину лица. В них не было детской наивности. Только любопытство исследователя и вселенская усталость прабабушки.

— Тэон, — сказала она тихо. Голос был чистым, звенящим. — Ты чего не ешь?

— Ем, — сказал я, не поднимая глаз от ложки. Действительно пытался.

— Ты ешь медленно, — заметила она, наклонив голову набок, как птица. — Раньше ты всегда быстро ел. Давился, кашлял, но глотал. Ты говорил, что если не успеть, папа всё заберёт.

Я промолчал. Она смотрела на меня, продолжая наклонять голову в другую сторону.

— Ты заболел? — спросила она наконец. Лоб нахмурен.

— Нет, — сказал я.

— Тогда почему ты не ешь?

Я поднял ложку и сделал ещё один глоток вязкой массы, специально громче зачерпывая. Психологическая манипуляция. Демонстрация норм.

Она не отвела взгляд.

— Ты странный сегодня, — сказала она. — Вчера ты был такой же. Чужой. Как будто тебя подменили, пока ты спал в сарае.

— Я просто устал, — соврал я. — Нейротоксикоз. Спать хочу. Дефицит REM-фазы.

— Ты только что встал, — логично возразила она. Её когнитивные способности были опасно высоки для крестьянской дочери.

Я не ответил. Что я мог сказать? Что мой внутренний таймер сбит перемещением между измерениями?

Она помолчала, перебирая край своего рукава. Потом встала, подошла к очагу, взяла ещё одну ложку — старую, с трещиной, и села рядом со мной вплотную. Я не знал, что она делает — у неё не было своей миски. Еды в доме хватало ровно на троих. Она просто сидела рядом и смотрела на меня, дышала мне в плечо.

Она села напротив меня, обхватила колени руками, подтянув их к груди — поза эмбриона. Смотрела, как я жую. Я видел краем глаза, как она сглатывает слюну каждый раз, когда моя ложка касается зубов.

— Ешь, — сказал я, пододвигая к ней свою миску. Социальный протокол альтруизма.

— Не, — сказала она. — Ты ешь. Тебе нужны силы для работы в кузне. Отец убьёт нас обоих, если заготовка опять треснет.

Я не стал спорить. Логика ребенка безупречна в рамках её мира. Я просто положил ложку и отодвинул миску на середину стола, разделяя территорию.

— Давай вместе, — сказал я. — Я не съем столько. У меня нет такого аппетита. Посмотри на мое телосложение.

Она посмотрела на миску, потом на меня. В глазах читалось недоверие. Рефлекс собаки Павлова: еда просто так не дается. Я кивнул, подтверждая транзакцию.

Она взяла ложку и зачерпнула. Быстро, аккуратно, как будто боялась, что я передумаю, щелкну пальцами и миска исчезнет. Я смотрел, как она ест. Она жевала жадно, работая челюстями быстро, но без чавканья — так, как будто каждый кусок был последним в жизни, и его нужно законсервировать внутри навсегда.

Мать стояла у очага спиной к нам. Помешивала ложкой пустой горшок. Молчала. Полное эмоциональное выгорание.

Лица доела свою половину, тщательно выскребла дно, облизала ложку дочиста, поставила её на стол вверх дном.

— Спасибо, — сказала она. — Ты стал добрым, Тэон. Раньше ты никогда не делился. Никогда.

Я не ответил. Физиологически невозможно ответить на благодарность едой, которой нет. Я просто встал и вышел из дома. Суставы хрустнули.

Это была моя новая семья. История болезни прилагается.

Воздух был сырым, серым, пахло дымом, угольной пылью и озоном перед грозой. Отец уже стоял у горна. Массивная фигура источала угрозу даже спиной. Он даже не обернулся, когда я подошел, скрипнув половицами.

— Дополз, калека? — спросил он в пустоту двора. Вопрос риторический.

Я не ответил. Я знал, что он не ждёт ответа. Коммуникативный акт отсутствовал. Я подошел к мехам, взялся за ручку. Правый хват правильный, левый компенсирует слабость ноги. Начал тянуть. Ровно, медленно, плавно, как учил вчера. Огонь вспыхнул ровно, загудел сыто. Идеальная ламинарная тяга. Анатомия газоведения усвоена.

Отец покосился на меня. Я видел это краем глаза — он смотрел на мои руки, на то, как я держусь за ручку кожаного мешка, на то, что я не шатаюсь от слабости и не роняю инструменты.

— Что это с тобой? — спросил он недоверчиво.

Я не ответил.

— Вчера как убогий был, еле ползал, а сегодня вроде соображаешь и спину держишь ровно, — буркнул он, возвращаясь к работе. Молот ударил по металлу с гудящим звоном. — Опять мне позорище устроишь перед людьми?

— Нет, — сказал я коротко.

— Гляди, — сказал он, не поворачиваясь, глядя в пламя. — Если ещё раз выкинешь что-то, как вчера — застонешь, упадешь — вышвырну. Мне калека безрукий не нужен. Толку от тебя меньше, чем от козла молока.

Он сказал это буднично, без злобы. Просто факт. Оценка эффективности сотрудника. Я кивнул, хотя он не видел моего жеста согласия.

Я работал. Заготовки не падали из захвата, клещи не выскальзывали из вспотевших ладоней. Я делал всё, что он говорил, без лишних вопросов. Быстро. Молча. Эффективность труда выросла на сорок процентов. Он ворчал для порядка, но не бил. Отсутствие стимуляции болью повышало производительность.

Кто-то из крестьян подошел к кузнице. Я слышал голоса, скрип гравия, но не поднимал головы, продолжая качать меха. Угли шипели, раскаленный металл звенел под ударами молота, ветер задувал в щели, гоняя пыль.

Первый — коренастый, с красным лицом гипертоника и руками в черных мозолях. Второй — повыше, тощий, с глубокими морщинами и сединой в бороде, кашель выдавал запущенный туберкулез. Они остановились у входа, прислонились к теплому столбу — не здоровались, не спрашивали разрешения, здесь все всех знали годами. Соседский коннект.

Коренастый протянул отцу сломанную подкову, бережно держа ее в тряпице.

— Грот, глянь. У мерина моего левая задняя лопнула напрочь, , чуть не расквасился по дороге в овраг. Можно что-то сделать? Металл устал.

Отец взял подкову, повертел в руках, осмотрел линию излома. Хмыкнул.

— Можно, — сказал он. — Перегруз животного. Завтра сделаю. Закалку изменю. Тэон тебе занесёт утром.

Я поднял голову от мехов, но ничего не сказал. Я ждал, что отец скажет ещё что-то. Распределение задач. Но он уже отвернулся к горну, поглощенный процессом.

Коренастый хмыкнул, посмотрел на меня без интереса, скользнул взглядом по моей ноге и тут же забыл обо мне. Нулевая эмпатия.

— Добро, — сказал он и убрал подкову обратно за пазуху. — Завтра, значит. До рассвета ждать?

Он привалился к столбу, заговорили о другом. О ценах на зерно, о скотине, о том, что сено подмокло снизу и начало преть. Я слушал, тянул меха и смотрел в огонь. Собирал разведанные.

— Опять вчера за лесом грохотало, — сказал тощий с натугой, выхаркивая слова вместе с кровью. — Зачастило, мать их ети. Третью седмицу подряд. Скоро от земли только горелая грязь останется. Радиация зашкаливает.

Коренастый сплюнул под ноги, густая желтая слюна, вытер рот рукавом и долго смотрел на черную полосу леса. Долго, будто ждал, что оттуда кто-то выйдет.

— Два года назад у нас ещё надежда была, — сказал он, уставившись в одну точку. — Думали, князь одумается, пришлет регулярное войско. Магов пригонит. А он всё ждет. Говорят, в столице своих забот хватает, казна пуста. А тут, значит, сами отбивайтесь. Локализация угрозы.

Тощий усмехнулся, но без злости — так усмеваются люди с терминальной стадией рака, которым уже всё равно.

— Войско. Слышал я, как оно воюет. Половина — мальчишки, сопляки зеленые, которых кормить нечем, кожа да кости. Половина — старики, которые согласились ради пайка, потому что дома всё равно сдохнут с голоду под забором. А остальные — те, кто успел сбежать, дезертиры. Скажи мне, какой прок от такого войска? Боевая ценность нулевая.

— Проку нет, — сказал коренастый. — Но и без него никак. Если Разрыв откроется — надо идти. Брать топоры и вилы. Никто не спрашивает, хочешь ты или нет. Дали дреколье — и вперёд. Мясо для мясорубки.

И в этих голосах не было ни зависти к столице, ни надежды на чудо. Только глухая, черная усталость скота, идущего на убой, и липкий страх.

— Да уж, — отозвался первый. — У нас уже мужики говорят — собираться пора в ополчение всем селом, баб тоже вооружать, а то как нагрянет волна, никто не успеет добежать до частокола.

— А князь что? — тощий усмехнулся криво, обнажая почерневшие зубы. — Он в башне сидит, вино пьет, его демоны не трогают. Ему хоть потоп, хоть засуха — лишь бы оброк платили вовремя.

— Платим, — сказал первый с горечью, сжимая кулаки. — Последнее зерно вывозим. А что толку? Скотина пухнет от плохого корма,дохнет, бабы в поле одни надрываются. Всё хуже живём.

— Слышал, в Садах Покоя опять набор объявили, — тощий опасливо понизил голос, оглянувшись на дорогу. — Молодых всех подчистую гребут. У кого Искра проявилась.

— Искра, — усмехнулся первый, но вышло невесело. — Редкое дело. Чудо господне. На всю округу — может, один на десять деревень за десять лет рождается. У нас в деревне отродясь таких не было.

— Дак то у нас, — ответил тощий. — А в других деревнях, вниз по реке, говорят, есть. Глаза у них будто огнём горят, когда злятся, белки светятся.

— И что с ними потом? Куда рекрутируют?

— А хрен его знает. Говорят, учат в Садах. Закрытая территория. А говорят, убивают сразу, чтоб неповадно было. Назад никто не возвращался — это точно.

Коренастый хмыкнул, помолчал, скребя щетинистый подбородок, потом добавил негромко, словно секрет:

— Слышал я тут, в городе проезжал, болтали... Будто есть маги, которые ногу могут вылечить. Любую. Даже самую старую, кривую, вывихнутую. Типа собирают кость заново, как конструктор.

Отец не обернулся от наковальни, но я слышал, как он усмехнулся. Скепсис профессионала.

— Мечтать не вредно, — сказал он без интереса, примеряя молот к зубилу. — Да если и есть такие чудотворцы — нам за такую услугу придется всё продать. Землю, дом, детей в рабство отдать. А продавать нам нечего. Мы и так нищие.

Крестьяне помолчали. Потом разговор сам собой перетек в обсуждение погоды и цен на деготь. Я стоял у мехов и смотрел в огонь, переваривая информацию.

В голове застревали слова, складываясь в паттерны: «Разрыв», «Сады Покоя», «искра», «глаза горят», «ногу вылечить». И ещё одно, самое важное: завтра я выйду из деревни. Пойду к мельнику. Впервые за пределы забора.

Я не знал, что это значит логистически. Но я чувствовал, как внутри, глубоко в груди, где раньше жила пустота кардиохирурга, что-то шевелится. Теплое, хищное. Интерес исследователя.

Уже смеркалось, тени стали длинными и синими, когда отец отложил молот в корыто с водой. Пар зашипел.

— Всё, кончай работу. Инструменты протри. Завтра жду с первыми петухами.

Я не ждал второго раза. Отложил рукоятку мехов, плечи ныли огнем. Пошёл к дому. Нога болела пульсирующим ритмом, спина гудела от статического напряжения, но я не показывал. Забежал на минуту в дом, перехватил холодной похлёбки прямо пальцем из общего горшка — мать даже не обернулась, продолжая смотреть в стену. Есть хотелось зверски, гипогликемия, но

жевал я без вкуса, просто перерабатывая углеводы в энергию. Чтобы не упасть. Потом вышел и побрёл к сараю, уже почти ничего не чувствуя, кроме тупой, системной усталости.

В сарае меня ждала Лика. Она сидела на соломе, подобрав колени к подбородку, делая вид, что развязывает стебель травы. Увидела меня и заулыбалась. Так искренне, что у меня что-то сжалось в диафрагме.

— Ты пришёл. Я боялась, что ты опять задержишься. Темнеет.

— Устал, — сказал я, опускаясь на солому рядом с ней. Мышцы отказались держать вертикальное положение.

Я сел и прислонился спиной к стене. Боль в ноге пульсировала горячим. Я закрыл глаза на мгновение, давая зрительным нервам отдых, открыл — она всё ещё смотрела на меня, вертя в руках сухую травинку.

— Тэон, — сказала она, нарушая тишину. — А ты знаешь, что старый мельник Григорий вчера упал с крыши? Напился и полез латать дыру. Говорят, он теперь там и ночует, прямо на черепице, потому что жена его выгнала, когда увидела, что он опять пьяный пришел и гусыню придавил.

Я кивнул, но не слушал. Я смотрел в темноту перед собой и перебирал в голове слова, которые услышал днём, сортируя их по категориям важности. Разрыв. Искра. Сады Покоя. Магия. Нога, которую можно вылечить методами остеосинтеза.

— Лика, — сказал я, перебивая её рассказ о гусях.

— А?

— А что такое Разрыв? — спросил я. — Объясни?

Она посмотрела на меня. Сначала удивлённо, потом брови сошлись к переносице.

— Ты чего спрашиваешь? Ты же знаешь. Сам рассказывал, как они лезут.

— Я забыл, — сказал я первое, что пришло в голову. Амнезия — лучший предлог для сбора данных. — Ударился головой сильно. Об телегу. Расскажи заново.

Она помолчала, глядя на меня с подозрением врача-психиатра. Потом заговорила. Я слушал и не перебивал, анализируя фольклор.

— Говорят, там выходцы приходят. Из-под земли. Лезут огромные, зубастые, когтистые. Их обычным железом не возмёшь, только магия берет. У нас мужиков посылают, молодых, когда они приходят. С вилами. У соседки Агаты отец пошёл в прошлый раз. Не вернулся. Теперь они голодают совсем, огород вскопать некому.

— А магия? — спросил я. — Что это такое?

— Не знаю, — пожала она плечами. — Я не видела никогда вблизи. У нас тут никого не было. Но старики говорят, что есть люди, которые могут огонь в руках держать голый. И глаза у них светятся желтым, когда злятся сильно. Их ловят стражники и забирают в Сады Покоя. Там учат.

— А что такое Сады Покоя?

— Ну, это где магов учат. Школа такая. Говорят, там им дают еду хорошую, одежду теплую, учат, как своей силой пользоваться, а потом... — она запнулась. — я не знаю точно. Кто-то идёт на Разрывы воевать, кто-то служит князю во дворце, кто-то умирает на испытаниях. Все говорят по-разному. Но никто не возвращается домой. Выпускников не видели.

— А про магов ты что-нибудь ещё слышала? Ну, какие они, где живут ?

Лика оживилась, под села ближе, перешла на шепот:

— Говорят, они живут далеко, в больших каменных городах. У них есть слуги, много золота, и они не пахнут землёю, не куют железо, как мы. Они только магией занимаются. Сидят в башнях. И ещё говорят, что есть такие маги-целители, которые могут любую болезнь вылечить или рану затянуть прямо на глазах, как новую. Щелчком пальцев. Но к ним нельзя просто так прийти — нужно платить золотом. Очень много.

Она посмотрела на меня. Снова настороженно, оценивая мою адекватность.

— А зачем тебе это всё знать? Ты же сам говорил всегда, что магия — это не наше дело. Что мы крестьяне, и нам лучше не соваться, целее будем.

— Я изменился, — сказал я. Простая правда. — Я хочу знать. Всё. Механизмы работы. Чтобы понимать правила игры.

Она помолчала. Потом сказала тихо, прижимаясь плечом к моему плечу:

— Ты не такой, как раньше, Тэон. Ты холодный. Чужой. Как старик в теле мальчика. Но я всё равно люблю тебя. Ты теплый, когда спишь.

Она легла на солому, подложила руки под голову и закрыла глаза. Через минуту её дыхание стало ровным, глубоким. Сон здорового истощения.

Я долго сидел в темноте после того, как Лика заснула. Смотрел на её тень на стене, на солому, на пробивающийся сквозь щели лунный свет холодного спектра. Потом поднялся, скрипнув суставами. Вышел из сарая и сел на землю у входа, кутаясь в рванину.

Ночь была холодной. Небо — серым, низким, усеянным мелкими звёздами, которые не складывались в знакомые созвездия Большой Медведицы. Я смотрел на них и пытался найти хоть что-то похожее на то небо, которое я знал. Не находил. Другая планетарная система.

Я сидел, смотрел на чужие звёзды и перебирал в голове то, что узнал за день. Профиль местности.

Тут есть какие-то Разрывы. И если это не массовый психоз и не плод больного воображения крестьян, страдающих эрготизмом, то оттуда лезут некие зубастые твари с высоким уровнем метаболизма, с которыми не стоит встречаться без пулемета.

Есть магия. Пока не понятно, что она дает физически — генерацию плазмы? Контроль электромагнетизма? Слышал только про горящие глаза, убийство монстров из разрыва дистанционно и достаточно привелегерованное положение в пищевой цепи. И ещё одно — то, что засело глубже всего, вбилося в подкорку хирургическим гвоздём. Нogu можно вылечить. Есть маги-биомеханики, которые могут это сделать. Крестьянин сказал это будто между делом, сплетничая, но я запомнил каждое слово. И отец сказал: «Мечтать не вредно». И про деньги. Про стоимость операции.

Я посмотрел вниз, на свою левую ногу. Кривую, бесполезную, мешающую ходить анатомическую ошибку.

Я провёл рукой по бедру, нащупал через ткань кость, которая выступала неровно, бугристо, неестественно. Я помнил, как должны выглядеть здоровые рентгеновские снимки. Как выглядит гладкий, отполированный суставной хрящ. Здесь же под пальцами чувствовалась острая грань — ложный сустав, сформировавшийся после неправильного сращения перелома шейки бедра. Мышцы над ним висели дряблыми тряпками, атрофированные за годы неиспользования. Ступня компенсаторно вывернулась наружу почти на сорок пять градусов, чтобы хоть как-то сохранять равновесие при ходьбе. Я мог бы описать это сухим медицинским языком из учебника травматологии, но здесь это было просто — кривая нога, которая болит всегда, даже во сне, и никогда не даст мне бегать или стоять ровно.

Я сжал пальцы на правой ноге, затем на левой. Чувствовал, как в одной мышца напрягается упругим жгутом, как надо, а в другой ответ приходит с задержкой, вяло, словно сигнал вязнет в густой патоке. Вся биомеханическая нагрузка уходила на правую сторону таза, и я знал, что будет дальше: через пару лет начнет разрушаться здоровый коленный сустав от перегрузки, потом перекосит позвоночник, начнутся грыжи, шея перестанет держать голову. А левая нога так и останется мёртвым грузом, привязанным к моему телу.

Я убрал руку. Смотреть на нее не хотелось. Отвращение к собственной физической оболочке — плохой спутник для выживания.

Но я знал одно: если есть магия, которая может собрать раздробленную кость заново, значит, есть и те, кто умеет это делать. Нужно только найти их. И заплатить им. А для этого

нужны деньги. Много. Гораздо больше, чем можно заработать горбом в кузнице за всю оставшуюся жизнь.

Я смотрел на звёзды сквозь щели в крыше сарая и думал: магия существует. Значит, есть и рынок услуг. Значит, есть те, кто за неё берёт плату. Значит, нужны деньги. Очень много денег. Чтобы хватило на взятку стражникам у ворот города, на оплату лекаря, на еду, пока я буду восстанавливаться. Чтобы кто-то посмотрел на мою ногу профессиональным взглядом и сказал, что конструкцию можно исправить. И чтобы я перестал быть калекой.

Я закрыл глаза. Ветер тянул с севера, пахло сырой землёй, прелыми листьями и близким дождем. Где-то за деревней тоскливо тявкнула собака. Потом снова стало тихо. Только Лика посапывала в сарае.

Я открыл глаза и сказал себе, формулируя протокол действий:

«Ты — Тэон. Ты — калека с дефектом развития опорно-двигательного аппарата. Но если магия существует как прикладная дисциплина, значит, есть способ это исправить. Не молитвой, а транзакцией. Значит, нужно заработать капитал. Много капитала. И ты это сделаешь. Любой ценой»

Я посидел ещё немного, впитывая холод ночи, который помогал думать яснее. Потом встал, разминая затёкшие мышцы. Вернулся в сарай, стараясь не скрипеть старыми досками. Лика спала, свернувшись калачиком, подтянув острые колени к груди. Она обнимала себя руками, пытаясь сохранить остатки тепла.

Я лёг на солому рядом, максимально близко, отдавая ей жар своего тела. Закрыл глаза и провалился в сон без сновидений. Глубокое торможение коры головного мозга.

Глава 3

Глава 3 Плясун

Я уже начал привыкать к утренним пробуждениям с запахом навоза, угля и сырости.

Открыл глаза — доски над головой, солома под спиной, боль в левой ноге, уже не острая, а тупая, почти привычная. Я лежал несколько секунд, прислушиваясь к себе: тело болело, но я мог встать. Я мог идти.

Я поднялся, размял спину, опёрся рукой о столб. Наступил на левую ногу — боль прострелила до бедра, но я терпел. Я уже знал, что боль не убьёт.

Я зашёл в дом. Мать стояла у очага, спиной ко мне, но когда я сел за стол, она обернулась и поставила передо мной миску с кашей. Потом, помедлив, достала откуда-то из-за печи небольшой узелок из тряпицы и положила рядом со мной.

— В дорогу, — сказала она тихо. Голос был таким же безжизненным, как всегда, но я заметил, как её рука дрогнула, когда она клала узелок на стол. — Хлеб. Сухой, но съешь по дороге.

Я посмотрел на неё. Она отвела взгляд, но на мгновение мне показалось, что в её глазах мелькнуло что-то тёплое. Только на мгновение, а потом снова стало пусто.

Я хотел сказать «спасибо», но она уже отвернулась к очагу и снова смотрела в стену.

Лица сидела напротив. Она смотрела на меня, не отрываясь.

— Тэон, ты сегодня идёшь к мельнику? — спросила она.

— Да, — сказал я.

— Принесёшь мне что-нибудь?

— Что например?

— Не знаю. Что-нибудь. Там, у мельника, говорят, есть сладости. Я слышала, как мальчишки говорили. Принесёшь?

Я хотел сказать, что у меня нет денег. Но вместо этого сказал:

— Если будет возможность — принесу.

Она улыбнулась шире и побежала к двери, но на пороге остановилась. Обернулась, посмотрела на меня — долго, как будто хотела запомнить.

Я смотрел ей вслед и думал: эта девочка слишком многое знает о мире для своего возраста.

Когда я вышел во двор, отец уже стоял у горна. Он не обернулся, но я чувствовал, что он знает — я пришёл. Он протянул руку, не глядя:

— Возьми. Отнесёшь Корнею.

Я взял подкову. Она была тёплой от горна. Отец показал глазами на дорогу:

— Далеко не ходи, убогий. Отдашь и сразу назад. Если опоздаешь — ужин пропустишь.

Я кивнул и пошёл.

Дорога тянулась через поле, потом уходила в лес, но я не сразу пошёл по ней — я остановился и оглянулся. Деревня была убогой. Покосившиеся заборы, крытые соломой крыши, местами провалившиеся. Серые, низкие дома, прижатые к земле. Люди, которые попадались на глаза, шли медленно, ссутулившись, как будто несли на себе тяжесть, которую никто не видел. Женщины в поношенных платках, старики на завалинках. Дети — босые, с грязными лицами.

Никто не улыбался. Никто не смотрел друг на друга.

Я стоял и смотрел на это, и внутри меня ворочалась какая-то тяжесть. Не жалость, нет. Что-то другое. Понимание, что этот мир — такой же, как мой прежний, только без асфальта и электричества.

Я пошёл дальше. Дорога была пыльной, с рытвинами от копыт. По бокам — заросшие кустарником поля, пустые дома, брошенные телеги. В лесу стало темнее, деревья смыкались над головой. Ветки цеплялись за рубаху, под ногами хлюпала грязь.

Дом мельника стоял на краю деревни — чуть побольше остальных, с крыльцом и чистыми окнами. Рядом — амбар, сарай, старый, но крепкий забор. Мельник сам вышел на крыльцо, когда я подошёл. Высокий, сухой, с седой бородой и красным лицом.

— От Грота? — спросил он.

— Да, — сказал я и протянул подкову.

Он взял, осмотрел, кивнул. Потом полез в карман и достал монеты. Маленькие, медные. Пять штук.

— Держи, — сказал он. — Передай отцу. Это за работу.

Я взял монеты, сжал в кулаке. Тёплые от его руки. Но я смотрел на него и думал: "Как мне купить булку для Лики?". Я стоял перед ним и держал в руке пять монет, которые должен был отдать отцу до копейки.

Я не знал, что сказать. Я просто стоял и смотрел на монеты. Потом я услышал голос, который, наверное, уже стал моим внутренним голосом, но в тот момент он прозвучал чётко и спокойно:

— А что, можно взять немного? Это же моя работа.

Я поднял голову и спросил:

— А можно здесь купить булку? Я всё отдам отцу, но... я хочу сестре принести.

Он посмотрел на меня. Долго. Потом усмехнулся и кивнул в сторону лавки, которая стояла у калитки.

— Вон там, — сказал он. — Булки у моей жены. Не сдобные, но свежие.

Я подошёл к лавке. На прилавке лежали булки — сероватые, с пыльной корочкой, но свежие, ещё тёплые. Я взял одну. Запах был тёплым и густым. Я протянул монету женщине — жене мельника. Она взяла, передавая привет матери!

булка легко поместилась за пазуху. Она была горячее, почти обжигала кожу через рубаху. Я развернулся и пошёл обратно.

Дорога обратно казалась длиннее. Я шёл и чувствовал, как булка греет грудь. Она была маленькой, но я знал, что для Лики она будет как праздник. Я почти улыбнулся, когда услышал голоса.

Они вышли из-за поворота — четверо. Я сразу понял, что они не случайно здесь. Они шли прямо на меня, ухмыляясь, как собаки, которые почуяли добычу. Один — высокий, лет шестнадцати, с жидкой щетиной и наглым взглядом. Трое других — помладше, но тоже крепкие, с кистями, сжатыми в кулаки.

— Эй, — сказал высокий, останавливаясь. — А это кто у нас?

Я остановился. Я не хотел проблем. Я просто хотел дойти до дома и отдать булку.

— Плясун! — крикнул один из мелких. — Слышь, ты чего хромаешь, как утка?

Другие засмеялись. Смех был грубым и злым.

— Эй, плясун, — сказал высокий, делая шаг вперёд, — а что у тебя за пазухой?

Он сунул руку к моей груди, и я отшатнулся.

— Не трогай, — сказал я.

— Ой, смотрите, калека заговорил! — заорал кто-то сзади.

Я смотрел на них и думал: мне тридцать шесть лет. Я взрослый мужчина. Я не должен бояться этих детей. Я должен найти слова, чтобы их остановить.

— Послушайте, — сказал я, стараясь говорить ровно. — Я просто иду домой. У меня нет ничего ценного. Я хромым, я не могу драться. Оставьте меня в покое.

Я сказал это спокойно, как говорят с детьми, которым нужно объяснить, что они делают глупость. Но они не слушали. Они смотрели на меня, как на добычу.

— Он ещё умничает! — сказал высокий и толкнул меня в плечо.

Я пошатнулся, но устоял. Боль в ноге прострелила до самого бедра, но я сжал зубы.

— Ты чё, не понял? — спросил он и толкнул снова, сильнее.

Я отступил на шаг и упёрся спиной в дерево. Второй парень — тот, что стоял справа, — подставил ногу, и я поскользнулся. Я упал на колено, прямо на больную ногу. В глазах потемнело от боли.

— Смотрите, какой плясун! — заорал высокий. — Танцует для нас!

— Давай, пляши ещё! — крикнул кто-то сзади.

Я лежал на колене, сжимая зубы. Всё тело тряслось от боли и ярости. Я хотел встать, но не мог. Я был слишком слаб. Они смеялись надо мной, толкали, выкрикивали оскорбления.

— А что у тебя там? — высокий снова потянулся к рубашке.

Я зажмурился. Я не знаю, что я почувствовал в тот момент. Ярость. Отчаяние. Что-то ещё, чего я никогда не чувствовал раньше. Горячий, сухой жар разлился внутри меня. Он поднимался от груди, к горлу, к глазам.

Высокий наклонился, чтобы выхватить булку. Но когда он посмотрел мне в лицо, его рука замерла. Я не видел этого, но он увидел. Он увидел, как мои глаза вспыхнули на мгновение — ярко, бело, как молния, отражённая в воде. Это длилось не больше секунды, но он отшатнулся.

— Ты... ты... — он заикнулся и отступил. Я почувствовал, как его рука убралась с моей груди.

--Иди отсюда

--остальные переглянулись

— Я кому сказал! — заорал он на своих, не оборачиваясь. — Пусть хромает отсюда! Живо!

Один из мелких ухмыльнулся:

— Ты чего, Косой, испугался?

— Заткнись! — рявкнул он. — Я сказал, пусть идёт!

Я поднялся на ноги. Голова кружилась. Боль в ноге была адской. Я не знал, что только что произошло. Я не знал, почему он отступил. Но я знал, что надо уходить.

Я развернулся и пошёл, хромя, сжимая рукой булку под рубахой. Я чувствовал их спины, их страх, их злость. Я слышал, как они перешёптываются, но не оглядывался.

Я шёл, не останавливаясь, пока дом отца не показался за поворотом.

Когда я подошёл к дому, солнце уже клонилось к закату. Я задержался у калитки, прислушался. Во дворе было тихо, только где-то за домом стучал топор. Отец ещё работал.

Я не пошёл к нему. Я обогнул дом, прошмыгнул к задней стене, где стояла поленница. Оттуда я видел двор, огород, колодец. Лика сидела на лавке у сарая и чистила картошку. Она была одна.

Я подошёл к ней сзади, опустился на корточки рядом. Она вздрогнула, обернулась, но, увидев меня, успокоилась. Я оглянулся — никого. Я достал из-за пазухи булку. Она была ещё тёплой, пахла мукой и печью.

— Тэон... — прошептала она.

— Это тебе, — сказал я. — Я купил. У мельника. На свои деньги.

Она смотрела на булку, не веря. Потом взяла её в руки, держала, как сокровище, и прижала к груди. Она не плакала. Она просто смотрела на булку, потом на меня.

— Ты... — сказала она и запнулась. — Ты купил мне булку? Зачем? У нас нет денег.

— Теперь есть, — сказал я. — Я заработал. И я хотел, чтобы у тебя было что-то своё.

Она не ответила. Она развернула булку, поднесла к лицу, понюхала. Потом, осторожно, как будто боялась сломать, отломил маленький кусочек и положила в рот. Она жевала медленно, с закрытыми глазами, как будто пробовала что-то, чего никогда не пробовала раньше.

Когда она открыла глаза, они были мокрыми.

— Она сладкая, — сказала она шёпотом. — Я никогда не ела сладкого.

Я смотрел на неё и молчал. Я не знал, что сказать. Всё, что я делал в этой жизни, казалось мне бессмысленным, пока я не увидел её глаза.

Она отломилась ещё кусок, протянула мне.

— Возьми, — сказала она. — Ты тоже должен попробовать.

Я покачал головой.

— Это твоё.

— Нет, — сказала она. — Мы вместе.

Я взял кусок. Он был мягким, тёплым, с хрустящей корочкой. Я жевал и смотрел на неё. И впервые за все эти дни я почувствовал, что сделал хоть что-то правильное.

Я встал, отряхнул колени.

— Я пойду к отцу, — сказал я. — Спрячь булку. Чтобы он не видел.

Она кивнула и прижала булку к себе. Я развернулся и пошёл к дому.

Я зашёл во двор. Отец стоял у горна. Услышал шаги, обернулся.

— Принёс? — спросил он.

Я подошёл, протянул ему монеты. Четыре штуки. Медные.

Я смотрел, как он считает их в ладони. Потом поднял глаза.

— А где пятая? — спросил он.

— Я купил булку, — сказал я. — Для Лики.

Он посмотрел на меня. Молча. Я видел, как в его взгляде просыпается что-то тёмное и тяжёлое. Он не сказал ни слова. Просто шагнул вперёд и ударил. Я видел этот удар — он шёл медленно, но я не стал уклоняться. Я знал, что если уклонюсь, он будет бить сильнее и дольше. Лучше пусть ударит один раз.

Кулак пришёлся в скулу. Я пошатнулся, но устоял. Кровь потекла из разбитой губы.

— Ты, не на что не годная свинья, — сказал он. — Ты на мои деньги покупаешь булки, а потом приносишь мне четыре монеты? Ты что, идиот?

Я молчал. Я смотрел ему в глаза и чувствовал, как отцовский кулак всё ещё пульсирует где-то в кости.

— Убирайся, — сказал он. — Иди в сарай. Чтобы я тебя до утра не видел.

Я развернулся и пошёл. Монеты он забрал. Булку он не получил.

Я сидел в сарае, прижимая к скуле грязную тряпку, когда в дверях показалась Лика.

Она вошла тихо, почти беззвучно, как умеют только дети, которые привыкли не привлекать внимания. В руках она держала не доеденную половину булки — ещё не большую часть она спрятала где-то у себя, я видел, как она сунула её за пазуху, когда входила.

Она остановилась на пороге, глядя на меня. Глаза у неё были большие, серые, в них не было страха — только какая-то странная, взрослая серьёзность, которая не вязалась с её возрастом. Она подошла ближе, села рядом со мной, протянула кусок булки, который отломилась заранее. Я хотел отказаться, но она сунула его мне в руку, не говоря ни слова.

— Ешь, — сказала она. — Тебе надо.

Я взял хлеб. Он был мягким, чуть тёплым. Я положил его в рот, жевал, глядя на неё. Она сидела рядом, обхватив колени руками, и смотрела на меня. Взгляд у неё был внимательный, как у человека, который привык подмечать всё, даже то, что другие стараются скрыть.

— Он тебя сильно ударил? — спросила она.

— Пустяки бывало и сильнее, — сказал я. — Я привык.

— Я тоже привыкла, — сказала она, отводя взгляд. — Только я всё равно боюсь. Не за себя — за тебя. Ты теперь какой-то другой. Ты стал...

Она запнулась, подыскивая слово. Я смотрел на неё, на её худые плечи, обтянутые рваной рубахой, на её спутанные волосы.

— Ты стал не таким, как раньше, — сказала она наконец. — Раньше ты боялся. А теперь ты просто злой.

— Я не злой, — сказал я.

— Ты не улыбаешься, — сказала она. — Ты не плачешь, не дурачешься. Ты как будто... не здесь.

Я не знал, что ответить. Я не мог сказать ей правду. Она ещё ребёнок, даже если её глаза говорят иное.

Она немного помолчала, потом начала говорить сама.

— Я помню, когда я была маленькая, — сказала она. — Мама рассказывала мне сказки. Перед сном. Она говорила, что я принцесса, просто спрятана в бедной избушке. Что однажды придет король и заберёт меня. Она даже пела мне иногда. Голос у неё был... не очень, но я любила слушать.

Я смотрел на неё. Она говорила это без горечи, с каким-то лёгким, почти прозрачным светом в голосе.

Она подтянула колени к подбородку и продолжила:

— Она была добрая. Когда я была совсем маленькая, она не боялась папы. Как-то раз он пришёл пьяный, хотел ударить её, а она взяла меня на руки и сказала ему: «Убей меня, но её не тронь». Он тогда ушёл. А она плакала ночью, но я слышала, что она шептала мне — «Ты сильная, мы переживём, я тебя не отдам».

Лица замолчала на секунду, облизнула губы, посмотрела в пол.

— Теперь она боится, — сказала она тихо. — Иногда я хожу к ней, когда папа спит. Она сидит там, одна, смотрит в стену. Я беру её за руку, чтобы она знала, что я есть. Иногда она сжимает мою руку. А иногда не сжимает. И тогда я тихо выхожу и иду в сарай, чтобы она не видела, как я плачу.

Я слушал её и не мог дышать. Она была маленькой, но уже знала всё, что взрослые прячут глубоко внутри: предательство, страх, одиночество.

— Папа тоже не всегда был таким, — сказала она. — Я помню, как он брал меня на руки, когда я была маленькой. Он носил меня вокруг дома и говорил, что я его любимая дочка. Это было давно. Сейчас он просто устал. Ему тяжело. Он работает, а денег нет. Земля плохая, подати растут. Он просто злой, потому что не может ничего изменить. Ты не должен на него обижаться, Тэон.

Я смотрел на неё, и у меня сжалось горло.

— Ты оправдываешь его, — сказал я. — Даже после всего.

— А кто ещё будет его оправдывать? — спросила она просто. — Если мы не будем его любить, то кто будет?

Я молчал. Она протянула руку и коснулась моей скулы.

— Тебе больно, — сказала она. — Я знаю. Но ты не плачешь. Ты всегда не плачешь. Я хочу быть такой же, как ты, когда вырасту.

— Ты уже такая, — сказал я. — Ты сильнее меня.

Она улыбнулась — той же наивной улыбкой, от которой у меня болело сердце, и прижалась ко мне плечом.

— Тэон, — сказала она. — Ты не уйдёшь, да? Ты останешься со мной?

Я смотрел в темноту и не знал, что ответить.

— Я останусь, — сказал я наконец. — Я никуда не уйду без тебя.

Она кивнула, как будто это было самое правильное обещание в мире, и закрыла глаза.

Я сидел на соломе, смотрел на её спутанные волосы, на её руки, сжимающие кусок булки, и чувствовал, что эта девочка — моё единственное, что я могу сохранить в этом мире.

Она уже почти уснула, когда тихо спросила:

— Тэон? А ты веришь, что мы когда-нибудь уедем отсюда? Далеко-далеко?

Я смотрел на неё, на её лицо, такое маленькое и худое, но всё ещё хранящее детскую наивность.

— Верю, — сказал я. — Мы уедем. Я обещаю.

Глава 4

Глава 4 Тень сна

Я проснулся от луча солнца, который пробился сквозь щель в стене и ударил прямо в лицо. Тёплый, жёлтый, почти осязаемый. Он разрезал темноту сарая, и я зажмурился, пытаюсь удержать сон, который ускользал, таял, как дым.

Сон был странным.

Я видел себя со стороны. Как будто я стоял где-то в стороне и смотрел на себя, стоящего посреди выжженного поля. Или как будто я был в нескольких местах одновременно — и там, в центре, и здесь, наблюдая. Но я знал, что человек в алом одеянии — это я. Я чувствовал это каждой частицей тела.

Земля под ногами была чёрной, потрескавшейся, с красными прожилками, как будто по ней прошёлся огонь, но не простой — магический, живой, который оставил шрамы на теле земли. Вокруг — пустота. Ни деревьев, ни кустов, ни домов.

Рядом со мной стояла красивая рогатая девушка. Она была необычной — я никогда не видел таких. Волосы — длинные, чёрные, блестящие, как вороново крыло, струящиеся до пояса. Глаза — ярко-зелёные, с вертикальными зрачками, которые сужались и расширялись, как у кошки, следящей за добычей. Кожа — бледная, гладкая, с перламутровым отливом, словно сама луна коснулась её. На голове — небольшие витые рога, почти незаметные, но я видел их, как видел всё остальное — отчётливо, до мельчайших деталей. Крылья за спиной — перепончатые, похожие на крылья летучей мыши, сложенные, но готовые раскрыться в любой момент. Одежда — лёгкая, почти прозрачная, из тёмного шёлка, который струился по её телу и не скрывал ничего. Хвост — длинный, с остриём на конце, извивался позади неё, как змея, и я чувствовал, что он живой, разумный.

Я не знал, кто она. Но чувствовал, что она не враг.

Я перевёл взгляд на себя. На того, кто стоял в центре поля. Я был выше, крупнее, сильнее. Не тощий, хромой парень, которого я видел отражением воды в старой бочке. Длинная мантия алого цвета струилась до самой земли. Рукава и лацканы украшала золотая вышивка, которая горела голубыми рунами, — они пульсировали в такт моему сердцу, как будто жили своей жизнью. Из-под капюшона я видел лицо — моё, но другое, более взрослое, жёсткое. И глаза горели ярко-жёлтым, как раскалённые угли.

На руках, на предплечьях, там, где рукава были задраны, я видел чёрные узоры. Они двигались, переливались, пульсировали. Похожие на ожоги или татуировки, но живые, как будто они сами дышали, как будто они были частью меня, которую я раньше не замечал.

На правой руке, на среднем пальце, блестел огромный перстень с выгравированной цифрой «6». Она была чёткой, глубокой, как будто вырезана лазером.

Я перевёл взгляд на поле передо мной.

Вдали, у самого горизонта, что-то двигалось. Сначала я подумал, что это ветер, или дым, или просто дрожащий воздух над раскалённой землёй. Но потом я понял — это нечто другое. Это была орда. Скелеты. Тысячи их. Они двигались вперёд, с металлическим скрежетом, с глухим стуком костей о кости. У некоторых были ржавые мечи, у других — копья, третьи шли с пустыми руками, но сжатыми в кулаки. Они не бежали, нет, они шли — мерно, ровно, как механизмы, подчиняясь кому-то.

В центре орды возвышался он — их повелитель. Он был огромен. Выше любого дерева, выше любого дома, который я видел в этой жизни. Его череп был покрыт трещинами, из которых сочился зеленоватый свет — болезненный, холодный, как болотный огонь. Вместо глаз — два пустых провала, но из них били лучи того же зелёного света, сканирующие поле, ищущие меня. Его тело было не из костей — оно было собрано из тысяч и тысяч скелетов, скреплённых

чёрной магией, которые двигались, как одно целое, как живой щит из мёртвых. Он держал в руке посох, на вершине которого горел чёрный кристалл, пульсирующий в такт его шагам. Когда он ступал, земля под ним лопалась, и из трещин вырывался холодный пар.

Он смотрел на меня. Я чувствовал его взгляд — тяжёлый, древний, безжалостный.

— Ты пришёл, — сказал он, и его голос был как камнепад, как скрежет тысяч глоток, говорящих одновременно. — Я ждал тебя.

Я не ответил. Вместо этого я поднял руки к небу. Я не знал, что делаю, но моё тело знало. Я чувствовал, как сила поднимается из земли, из воздуха, из самого моего существа. Она была холодной и горячей одновременно. Она была моей.

Я провёл руками дугу, и они вспыхнули.

Пламя. Чёрное, как сама тьма, как бездна, которая поглощает свет. Оно вырвалось из моих ладоней и ударило в орду. Скелеты вспыхивали, кричали, рассыпались в пепел. Древний Повелитель пошатнулся, но устоял. Он поднял посох, и зелёный свет ударил в ответ.

Но я уже знал, что сильнее. Я чувствовал это.

Я проснулся.

В сарае было тихо. Только солнце пробивалось сквозь щель и освещало солому, по которой я лежал. Я смотрел на неё, на пылинки, пляшущие в луче света, и пытался вспомнить сон. Но он ускользал, таял, оставляя только ощущение — тепло в руках.

Я поднял правую руку и посмотрел на неё. Пальцы были обычными, грязными, с ободранными ногтями. Никакой вязи, никакого перстня. Ничего.

Но я чувствовал тепло. Оно разливалось по запястью, по ладони, по пальцам. Я не мог объяснить его, но оно было там. Как будто кто-то оставил уголь в моей ладони, и я не мог стряхнуть его.

Закрыв глаза и попытался вызвать то чувство, которое было во сне. Ничего. Только пустота и утренний холод.

«Это был сон, — сказал я себе. — Просто сон. Стресс, голод, усталость. Никакой магии. Никакого огня. Ты просто сошёл с ума от голода».

Но я всё равно сжал ладонь, пытаясь удержать тепло. Оно ускользало.

Я встал и пошёл к двери. Солнце ослепило меня. Я щурился, пока глаза привыкали, и чувствовал, как правая рука всё ещё слабо гудит, как струна, которую давно не трогали.

Я списал это на сон.

Мать уже стояла у очага, но на этот раз она обернулась, когда я вошёл. Посмотрела на мою скулу — там, где вчера пришёлся удар отца. Сказала:

— Садись.

Голос был таким же безжизненным, как всегда, но я заметил, что она поставила передо мной миску с кашей быстрее, чем обычно. И положила чуть больше, чем вчера. Я не знал, было ли это случайностью или она заметила, что я вчера не доел.

Лика сидела на лавке и смотрела на меня. У неё в руках был кусок той самой булки, которую я принёс вчера. Она отломил маленький кусочек, положила в рот и жевала медленно, с наслаждением, как будто это был не просто хлеб, а целый праздник.

— Ты не спал? — спросила она.

— Спал, — сказал я.

— Ты говорил во сне, — сказала она. — Я слышала.

— Что я говорил?

— Не знаю. Не разобрала. Но ты говорил громко, как будто с кем-то спорил.

Я промолчал. Я не хотел рассказывать ей про сон. Он был слишком странным, слишком ярким, слишком... нереальным.

Мать села напротив, взяла свою ложку и начала есть, глядя в стену. Я смотрел на её руки, на её худые плечи, на её пустой взгляд, и думал о том, что она, наверное, тоже когда-то была другой. Молодой. Живой. До того, как этот мир сломал её.

Ли́ка потянулась и коснулась моей руки. Её пальцы были холодными, тонкими, как птичьи лапки. Она не сказала ни слова, просто положила руку поверх моей, и мы сидели так несколько мгновений. Это было странно — я привык к холоду и боли, к ударам и крикам. Но не к этому. Не к тому, чтобы меня кто-то трогал без злобы.

Я не отнял руку. Я просто сидел и смотрел на её пальцы, лежащие на моих, на её грязные ногти, на царапины на костяшках. Она была ребёнком, но её руки были такими же потрескавшимися, как у взрослого. Она таскала ведра, колола дрова, стирала бельё. Она делала всё, что не должна была делать в свои десять лет. И она не жаловалась. Она просто сидела и держала меня за руку.

— Тэон, — сказала она, — а ты знаешь, что я сегодня слышала?

— Что?

— Когда я ходила за водой, встретила соседку. Она сказала, что в соседнем княжестве был прорыв. Большой.

Я посмотрел на неё. Она говорила это спокойно, как будто рассказывала о том, что погода испортилась. Но в её голосе я услышал что-то, что она пыталась скрыть.

— Что значит «прорыв»? — спросил я, хотя уже догадывался.

— Ну, Разрыв, — сказала она, пожимая плечами. — Говорят, там целая орда вышла. Поля пожгли, дома разрушили. Много народу полегло.

Она замолчала, снова откусила булку и пожевала.

— Соседка сказала, что люди в страхе. Говорят, что такое уже давно не случалось. И что они даже не знают, кто за это ответит.

— Кто должен отвечать? — спросил я.

— Ну, князь, наверное. Или маги. Они же должны защищать. А их всё нет и нет.

Мать подошла к столу, положила перед Ликой ещё одну ложку, Ли́ка не собирай всякие небылицы от глупых баб, потом села напротив и начала есть, глядя в стену.

Ли́ка понизила голос:

— Соседка сказала, что слышала, будто из столицы должны прислать настоящего боевого мага. Не такого, как наши деревенские, а настоящего, с силой. Чтобы он разобрался, что там случилось, и закрыл Разрыв.

Я молчал. Я смотрел на неё и чувствовал, как в груди поднимается странное, холодное волнение. Боевой маг. Значит, маги бывают разные. И они могут закрывать Разрывы.

— А она не говорила, когда он приедет? — спросил я.

— Не знаю, — сказала Ли́ка. — Говорят, уже должен был приехать, но всё нет.

Она снова замолчала. Мать поднялась из-за стола, не сказав ни слова, и пошла к очагу. Я смотрел на её спину, на её худые плечи, на её согбенную, усталую спину.

— Тэон, — сказала Ли́ка, — а ты боишься?

— Чего?

— Ну, Разрывов. Магов. Всего этого.

Я посмотрел на неё. На её худое лицо, на её серые глаза, в которых не было страха, но была какая-то странная, взрослая усталость.

— Боюсь, — сказал я. — Но я боюсь больше за тебя.

Она улыбнулась — той же улыбкой, в которой было больше надежды, чем смысла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.